

<https://doi.org/10.31489/3134-9102/2026-1-1/7-19>
УДК 94(574)

Получена: 10 декабря 2025 г. | Одобрена: 26 февраля 2026 г.

Ж.Б. Абылхожин¹ , Ж.Е. Нурбаев² , Г.Ж. Сұлтанғазы² 

¹Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханов, Алматы, Казахстан;

²М. Narikbayev University, Астана, Казахстан

(E-mail: abylkhozhin@mail.ru; zhaslannurbayev@gmail.com; sulg096@gmail.com)

Социальная поляризация казахского аула и классовая кампания советской власти в 1920-е годы

В статье анализируется социально-экономическая динамика казахского аула в период НЭПа и первых регулятивных акций Казкрайкома, раскрываются причины устойчивого расслоения сельского общества в 1920-е годы. Показано, что переход к новой экономической политике, который в общесоюзном масштабе сопровождался усилением роли товарно-денежных отношений и формированием рыночных групп (батрачество, зажиточные хозяева), в казахском ауле проявлялся слабее из-за преобладания натурального скотоводческого уклада и ограниченной включенности в товарный обмен. Новизна исследования состоит в том, что реформы 1920-х годов рассматриваются не только как административные кампании, но и как вмешательство в систему внутриобщинных норм, солидарности и перераспределения. На основе сопоставления официальных материалов о ресурсной обеспеченности хозяйств, партийных оценок итогов реформ и устных свидетельств из полевых записей конца 1950-х — начала 1960-х годов выявляется, что многие преобразования имели ограниченный эффект: получение земли и сенокосов часто не обеспечивало хозяйственной самостоятельности без скота и орудий, а перераспределение имущества байских хозяйств сдерживалось давлением традиции и страхом утраты общинных гарантий. В результате сохранялись поляризация, маргинализация и пауперизация значительной части аульного населения вплоть до коллективизации. В статье использованы статистические данные сельскохозяйственной переписи 1927 года, материалы партийно-советских совещаний и отчетности, а также устные источники, собранные в экспедициях Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР и отложившиеся в Рукописном фонде.

Ключевые слова: традиционная община, социальная структура, социальное расслоение, пауперизация, маргинализация, конфискация имущества, байство, батрачество, НЭП, Казкрайком.

Введение

История казахского аула 1920-х годов остается одной из ключевых проблем социальной истории Казахстана, поскольку именно в этот период столкнулись два разнонаправленных вектора развития: докапиталистические механизмы социальной дифференциации, укорененные в традиционном скотоводческом укладе, и «классово-ориентированные» регулятивные акции советской власти, направленные на перераспределение ресурсов и перестройку отношений собственности. Введение НЭПа и формальное допущение рыночных механизмов в масштабах страны усилили товарно-денежные процессы в сельских регионах, однако в казахском ауле влияние рынка было ограниченным из-за натурально-потребительской автаркии аула и его слабой включенности в товарные отношения. Это создавало особую ситуацию: советское государство пыталось провести реформы, предполагая их универсальный социально-экономический эффект, тогда как традиционная структура демонстрировала спо-

* Автор-корреспондент. E-mail: zhaslannurbayev@gmail.com

способность не столько к открытому сопротивлению, сколько к адаптации, переупорядочению и воспроизводству прежних связей через общинные институты, патерналистские практики и неформальные нормы. В результате вопрос о реальном влиянии реформ 1920-х годов на расслоение аула приобретает не только историческое, но и методологическое значение: он позволяет уточнить пределы модернизационного воздействия государства на традиционное общество, выявить роль общины как ключевой производственной и социальной «инфраструктуры», а также понять, почему формальные перераспределительные меры часто не приводили к ожидаемому «осереднячиванию» и снижению поляризации.

Целью статьи является анализ того, как реформы 1920-х годов (передел сенокосных и пахотных угодий, конфискация скота у крупных байских хозяйств и сопутствующие меры) воздействовали на процессы социального расслоения в казахском ауле в условиях НЭПа и первых лет деятельности Казкрайкома. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: реконструировать основные уровни и типы социальной стратификации аула (самодостаточные хозяйства, бедняцко-маломощные дворы, маргинальные и пауперизированные группы, люмпенизированные слои, наемные работники, крупные собственники); проанализировать противоречия между нормативной логикой реформ (распределение земли и сенокосов, передача конфискованного скота, ожидания роста «средняцкого» слоя) и реальными ограничителями — дефицитом вторичных ресурсов (тягло, инвентарь, семена), традиционными критериями справедливости, социальным давлением и зависимостями; оценить двоякий эффект конфискации: опосредованное влияние через межукладные воспроизводственные связи и прямое влияние через распределение ресурсов бедноте и батракам.

В историографии заметен устойчивый конфликт между нормативно-идеологическим и социально-антропологическим прочтением реформ. В первом случае реформы трактуются как последовательные и эффективные меры «социалистического преобразования», которые должны были разрушить экономическую базу аульной верхушки и обеспечить выравнивание. Во втором — реформы рассматриваются как вмешательство государства в сложную систему воспроизводственных связей, где решающими оказываются не формальные акты перераспределения, а способность хозяйства реально утилизировать полученные ресурсы и сохранять доступ к общинным гарантиям.

Среди основных пробелов следует выделить недостаточную проработку «производственной логики» традиционного скотоводческого аула как системы, где община выступает не просто формой социального контроля, а условием технологического и экономического оптимума. В ряде работ реформы анализируются преимущественно в политико-правовой или классовой рамке, тогда как механизмы воспроизводственных зависимостей оказываются описаны фрагментарно.

Социальная динамика аула 1920-х годов анализируется через сочетание экономико-структурного и социокультурного подходов. С одной стороны, ключевым является анализ реальных производственных ресурсов и возможностей их использования: земля и скот имеют смысл лишь в связке с тяглом, инвентарем, доступом к пастбищам и включенностью в кооперацию. С другой стороны, не менее важны соционормативные регуляторы: традиционные критерии справедливости, патерналистские связи и механизмы общинного давления, которые могли блокировать или видоизменять формальные решения государства. В работе акцентируется внимание на том, как традиционная структура адаптировалась к внешнему воздействию, сохраняя устойчивость и воспроизводя расслоение. Именно поэтому в статье реформы рассматриваются не как односторонний слом традиции, а как поле сложного взаимодействия, где результат определялся совокупностью хозяйственных ограничений и культурно-институциональных механизмов аула.

Материалы и методы

Материальная база статьи сформирована на стыке количественных и качественных источников, что позволяет рассматривать социальную структуру казахского аула 1920-х гг. не только через нормативные планы реформ, но и через практику их реализации и восприятия на местах. В качестве статистического блока использованы данные сельскохозяйственной переписи 1927 г. и обобщенные сведения по численности хозяйств и обеспеченности инвентарем в республике (в т.ч. по округам Петропавловскому, Павлодарскому, Кызылординскому, Сырдарьинскому и др.), а также материалы о масштабах конфискации и перераспределения скота у «баев-полуфеодалов» с привязкой к конкретным цифрам из отчетности и инструкций.

К нормативно-документальному массиву отнесены партийно-советские материалы и публичные выступления руководителей и экспертов (включая позицию Ф.И. Голощекина, оценки Оргсовещания

ЦК ВКП(б), доклад Наркомзема, суждения М. Ряднина, выступления Т.Р. Рыскулова), фиксирующие ожидания реформ и признание их ограниченных результатов. Отдельным пластом использованы устные свидетельства, записанные в конце 1950-х — начале 1960-х гг. в ходе полевых экспедиций Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР; материалы хранятся в Рукописном фонде и включают интервью жителей разных районов. Эти свидетельства задействованы как источник для анализа социальных реакций на конфискации и высылки, а также для выявления «языка памяти» и практик объяснения происходившего (религиозные мотивы, страх нарушить традицию, оценка роли бая как патрона).

Методический инструментарий статьи выстроен так, чтобы связать в единой аналитической рамке социальную стратификацию аула, логику советских «классово-регулятивных» кампаний и реальные ограничения традиционного хозяйственного уклада. В основе лежит историко-структурный анализ. В работе реконструируется внутренняя архитектура традиционной аграрной среды, выделяются устойчивые и пограничные социально-хозяйственные позиции (самодостаточные дворы, бедняцко-маломощные хозяйства, батрачество, маргинальные и пауперизированные группы, люмпенизированные слои, верхушечные крупные скотовладельцы), а затем объясняется, как эти позиции воспроизводились через общинные механизмы кооперации, дополнительности и перераспределения, а также через неформальные властно-статусные иерархии. Такой подход позволяет рассматривать расслоение не как «простую сумму бедных и богатых», а как процесс, поддерживаемый институциональными правилами и зависимостями внутри общины и в более широком пространстве воспроизводственных связей.

Проблемно-хронологический метод используется для отслеживания последовательности реформ и смещения акцентов государственной политики в 1920-е гг.: от допущений НЭПа и роста товарно-денежных процессов в деревне к попыткам воздействовать на аул через передел сенокосов и пашни, а затем через конфискацию скота и высылку «баев-полуфеодалов». Это дает возможность показать, что реформы разворачивались и накладывались на действующие докапиталистические практики и потому сталкивались с системными ограничителями, которые проявлялись по-разному на каждом этапе.

Сравнительно-сопоставительный анализ применен для проверки разрыва между нормативными целями и фактическими результатами: заявленные критерии перераспределения, например, распределение сенокосов «по едокам» сопоставляются с традиционными представлениями о справедливости (ориентация на число голов скота), а расчетные «нормы осереднячивания» — с реальными объемами выдачи ресурсов. На этом основании интерпретируются статистические и округовые данные не как «самодостаточное доказательство успеха», а как материал для выявления диспропорций, дефицитов и формальности отдельных акций, когда ресурсная поддержка не обеспечивала устойчивого хозяйственного эффекта и не переводила бедняцко-батрацкие дворы в середняцкий слой в содержательном смысле.

Результаты

В начале 1920-х годов советская власть оказалась в состоянии глубокого хозяйственного и общественно-политического спада. Масштаб трудностей был настолько велик, что для большевистского руководства становился реальным риск утраты контроля над страной. Чтобы остановить разрушение экономики и социальной системы, было принято решение изменить курс и запустить новую экономическую политику (НЭП). Этот поворот означал временное и вынужденное допущение рыночных механизмов и частной инициативы ради оживления хозяйственной жизни. Новая модель не означала отказа от социалистических целей: рынок рассматривался как тактический инструмент восстановления.

После введения НЭПа в сельских регионах бывшей империи стали самостоятельно развиваться товарно-денежные процессы. Усилились обмен, частная торговля и накопление. На этой основе постепенно складывалась рыночно-капиталистическая линия развития, которая вела к новому варианту имущественного расслоения деревни. Оформлялись группы сельских наёмных работников — батраков — и слой зажиточных хозяев, относимых к кулачеству. При этом прежние, дорыночные формы неравенства не исчезли: они продолжали действовать и влияли на социальную динамику.

В казахском ауле, который можно рассматривать как обобщённый тип традиционного аграрного уклада, воздействие рынка ощущалось значительно слабее. Причина заключалась в ограниченной включённости в торговлю и ориентации на натуральное потребление. Хозяйства оставались во многом замкнутыми и самообеспечивающимися, поэтому капиталистические факторы действовали ми-

нимально. Экономическая жизнь строилась по старым, докапиталистическим правилам, а социальные различия формировались преимущественно на традиционной основе.

Внутри аула складывались противоположные группы: крупные и обеспеченные скотоводческие хозяйства и значительная масса обедневших семей. Между ними существовали пограничные и неустойчивые слои, находившиеся на грани выпадения из нормальной хозяйственной жизни. Такое деление, конечно, упрощает реальность: традиционная среда воспроизводила широкий спектр промежуточных хозяйственных типов и социальных позиций, постоянно «переливавшихся» друг в друга.

Относительно устойчивое положение занимали самодостаточные хозяйства. Они полностью покрывали базовые потребности продуктом собственного производства. Главной задачей было не текущее пропитание, а сохранение и наращивание производственной базы, прежде всего поголовья скота. Однако из-за коллективного пользования пастбищами развитие таких хозяйств было возможно только в рамках общинного взаимодействия, через совместную организацию труда и кооперацию.

К этой группе относили середняков и зажиточных владельцев. Сюда же входили небольшие байские хозяйства, которые ещё не вышли из общинной зависимости. Обладая более крупными стадами, они получали управленческое влияние, брали под контроль организацию работ и распределение ресурсов. Фактически они сосредотачивали в своих руках функции внутриобщинного перераспределения и использовали труд рядовых общинников в собственных интересах, опираясь на имущественное превосходство.

Социальная раздробленность, основанная на частно-семейной собственности на скот, вела к заметному расслоению. Среди относительно самостоятельных хозяйств выделялись большие группы бедных и хозяйственно слабых семей. Эти семьи постепенно начинали «выпадать» из производственного процесса, который держался на общинной организации жизни. Но выпадение не означало мгновенного полного обнищания: необходимый продукт обеспечивала община, поскольку внутри неё действовал устойчивый механизм взаимопомощи и солидарности. Иначе говоря, доступ к минимуму жизненных благ гарантировался общиной, а не рынком и не государством.

Такое обеспечение достигалось через традиционные соционормативные институты: общинный патернализм (опека слабых), реципрокацию (взаимные услуги и обмены) и редистрибуцию — перераспределение части общего внутриобщинного продукта в пользу малоимущих и неимущих. Эти практики удерживали бедняков в пределах общины, но одновременно могли превращаться в инструмент зависимости, если ключевые функции перераспределения оказывались под контролем верхушки.

Внутри бедных и маломощных хозяйств условно выделялись два уровня. Первый — семьи, добывавшие жизненные средства в объёме, более-менее достаточном для воспроизводства рабочей силы. Это был минимум необходимого продукта, позволяющий физически поддерживать труд. Второй уровень был меньше: эти семьи получали продукт не только для биологического выживания, но и в объёме, позволявшем хотя бы частично следовать нормам и обычаям социума. Они ещё могли, пусть с напряжением, участвовать в обрядах и повседневных практиках (свадьбы, похороны, гостевание), а иногда — вступать в отношения сбалансированной реципрокации, когда помощь компенсировалась равноценной отдачей.

Заметный слой составляли работники, которым уже не удавалось обеспечить необходимый продукт ни собственным хозяйством, ни одной лишь общинной поддержкой. Общинная система фактически оттесняла их на периферию, и они вынужденно искали дополнительные, а иногда основные источники существования вне своей общины. Чаще всего они вступали в отношения найма, сдавали рабочую силу «на стороне», иногда выходя за пределы привычного социального пространства традиционной структуры.

На эту массу постепенно распространялась тенденция разрыва привычных связей. Разрыв вёл к десоциализации личности и усиливал аномию — состояние, когда человеку всё труднее опираться на понятные нормы и устойчивые правила. Люди оказывались в начале процесса утраты принадлежности к своей «родной моральной общности», то есть к общине: прежние формы взаимопомощи и авторитеты слабели, обязанности размывались, а новые связи воспринимались как чуждые.

Так возникала маргинальность как пограничное положение. Человек частично терял «родные» связи и формы поддержки, но не разрывал их окончательно. Одновременно он пробовал встроиться в иной тип отношений и адаптироваться к другой среде, но не мог полноценно интегрироваться: правила новой среды не усвоены, ресурсов недостаточно, доверия нет. В результате он оказывался «между двумя мирами»: уже не в центре прежнего сообщества, но и не в новом коллективе.

Обширную страту составляло пауперизированное население, ещё сохранявшее слабую связь с производством. Эти люди держались за представление о хозяйственной самостоятельности, хотя де-факто основания для неё исчезали. Нищета воспринималась как временная, а надежда на «возврат устойчивости» становилась важным психологическим механизмом выживания.

Наконец, существовала категория люмпенов — аульных жителей, полностью дезинтегрированных относительно процесса производства. Люмпенизация выступала как последняя стадия деклассирования. Люмпены жили случайными заработками, но чаще — подаяниями и попрошайничеством. Для них, как отмечалось, была «полностью атрофирована... психология труженика», но сохранялась деформированная психология собственника: рвачество, стремление «преуспеть» без труда, склонность паразитировать и ожидание лёгкой выгоды [1; 71]. Именно маргинальные, пауперизированные и люмпенизированные группы нередко становились наиболее восприимчивой социальной базой для классовых акций советского государства: раздражение, агрессивность, склонность искать виновных вовне и вера в радикальные обещания «решить всё сразу» делали их удобными участниками конфликтных сценариев.

На верхнем социальном полюсе традиционной структуры находились хозяйства крупных собственников. Они владели большими стадами и могли вести дела уже не в рамках повседневной общинной кооперации. Их хозяйство было ориентировано на получение прибавочного продукта и престижное потребление. Работа поддерживалась за счёт эксплуатации зависимых общин и наёмных работников; найм имел докапиталистический характер, а «оплата» часто сводилась к минимуму (корм и крайне бедное жильё).

Дополняя картину, следует назвать батрачество (сельских пролетариев) и хозяйства частнокапиталистического типа. Последние были нацелены на извлечение прибавочной стоимости через капиталистическую эксплуатацию наёмного труда, но в «классическом» виде в ауле встречались редко. Чаще существовали гибридные, промежуточные формы: уже не строго традиционные, но ещё не полноценные частнокапиталистические предприятия. Батраков же было заметно больше, но их положение во многом определялось связями с кулацкими хозяйствами деревни, станицы или кишлака; поэтому они занимали особую нишу «как бы за пределами» собственно традиционного социума аула.

В итоге главным социальным результатом докапиталистической тенденции становились маргинализация и пауперизация широких масс. Сдерживать эти процессы стремилась социалистическая тенденция, исходившая от политики государства: земельно-водная реформа, землеустройство, передел сенокосных и пахотных угодий, конфискация скота у «баев-полуфеодалов», кредитная и налоговая политика, кооперирование, классовые политико-правовые акты и т.д. Противоборство докапиталистической и социалистической тенденций составляло основное содержание нэповского периода в ауле и выражало вопрос «кто — кого».

Давление социалистических регулятивов на докапиталистическую линию усиливалось. Однако было бы неверно повторять тезис советской историографии о том, что уже в 1920-е годы социалистические факторы глубоко и эффективно подавили прежнюю систему. Если бы докапиталистический вектор был сдержан радикально, то к концу 1920-х «осередничивание» аула стало бы не только статистическим показателем, а реальностью социальной жизни. Но этого не произошло: сохранялось полярное расслоение, а механизм расширенного воспроизводства маргинальности и пауперизации работал устойчиво до коллективизации. Следовательно, социалистическая тенденция, задавая стратегическую перспективу, в 1920-е годы не охватила и не преобразовала полностью докапиталистическую основу аула.

До классовой экспроприации и коллективизации государственная политика не смогла нейтрализовать и верхушку традиционной структуры. Контроль воспроизводственных хозяйственных связей исходил от местной элиты и поддерживался не только экономическими ресурсами, но и властными функциями. Несмотря на провозглашённую в 1917 году ликвидацию привилегий, в традиционном обществе сохранялись иерархии: статусно-сословные различия, престижные градации, генеалогические ранги, геронтократические представления. Для традиционного сознания это воспринималось как естественный порядок, закреплённый обычаем и сакрализованной традицией; нарушение традиции могло вызывать страх наказания потусторонними силами (болезни, засуха, падеж скота). Отсюда — настороженность части аульчан к «байскому добру», изымаемому у верхушки.

Традиционная структура показывала способность не столько открыто сопротивляться, сколько приспособляться к внешним акциям государства. Потенциал реформ часто ограничивался тем, что инициаторы плохо понимали механизмы воспроизводства традиционного уклада, недооценивали его

институциональные приоритеты, соционормативную культуру и экологические принципы организации жизни.

Показательный пример — передел сенокосных и пахотных угодий. На VI Всеказахской партконференции Ф.И. Голощекин риторически заявил: «Что такое передел луговых угодий? Это есть маленький Октябрь» [2; 21]. На VI Всеказахском съезде Советов прогнозировали, что передел ликвидирует «земельное засилье байства» и ограничит накопление и рост байских хозяйств [3; 22]. Пропагандистская литература шла ещё дальше: передел якобы подрывает возможности баев эксплуатировать бедноту и разрушает патриархально-родовые пережитки [4; 21]. Однако реальные основания для таких ожиданий были слабыми.

Слабые места реформы проявлялись не только в организации, но и в содержании. Простое перераспределение земли не снимало противоречий вокруг земельных ресурсов, если семья не могла полноценно использовать участок. Чтобы земля стала источником устойчивого улучшения, требовались «вторичные» ресурсы: тягловая сила (рабочий скот), инвентарь, орудия, семена. Между тем бедняцкие и маломощные хозяйства и значительная часть середняков испытывали острый дефицит этих ресурсов. В 1928 году в республике насчитывалось свыше 800 тысяч казахских хозяйств. Перепись 1927 года фиксировала крайне малую обеспеченность техникой: около 124 тыс. примитивных орудий, 54 тыс. плугов, лишь 0,5 тыс. сеялок, около 13,5 тыс. сенокосилок, 9,4 тыс. железных борон и т.д. [5; 53-54]. По округам картина была ещё жёстче: в Петропавловском округе не имели инвентаря 95,5 % бедняцких и 83,2 % середняцких хозяйств; в Павлодарском — 99,4 % и 85,8 %; в Кызылординском — 72,9 % и 69,1 %; в Сырдарьинском — 66,2 % и 54,5 % [6; 103].

В таких условиях земля часто становилась «бумажным» приобретением. Семьи, не имея тягла и инвентаря, не могли реализовать право на участок и нередко возвращали землю прежним владельцам — зажиточным и баям. Передел сенокосов сталкивался с аналогичными барьерами. По норме сенокосы распределялись «по количеству едоков» [7; 122], но традиционная справедливость опиралась на число голов скота. Поэтому многодетный бедняк, формально получавший преимущество, мог подвергнуться моральному давлению со стороны верхушки через апелляцию к «законам предков». Если конфликт разворачивался, нарушителей могли отеснить от каналов общинных гарантий, которые нередко контролировала элита. Бедняк, рискуя потерять общинную поддержку, часто предпочитал конформистский выбор: отказаться от спорного участка и сохранить доступ к прожиточному минимуму через редиистрибуцию.

Отсюда видно, что риск «нежелательного» для власти сценария объяснялся не «пассивностью масс», а хозяйственной рациональностью бедных. Патерналистские связи, прикрывавшие эксплуатацию, могли давать больше гарантий выживания, чем формальный передел сенокосов, если у семьи не было ресурсов, чтобы использовать землю. Главным сдерживающим фактором оставался способ организации производства: необходимый продукт и воспроизводство средств производства были достижимы главным образом внутри общины через кооперацию, принцип дополненности и производственно-технологический «оптимум». Индивид с ограниченными ресурсами вне общины не мог поддерживать хозяйство, поэтому «идти против общинного согласия» означало «перепилить ветку, на которой сидишь».

Источники подтверждают такую логику. Нарком земледелия Султанбеков описывал ситуацию: «...когда бедняк... не имея возможности скосить сено, вспахать землю, вынужден был возвращать землю обратно баю... и возвращая ему спасибо за то, что бай его как-нибудь накормит...» [7; 127]. Оргсовещание ЦК ВКП(б) в апреле 1929 года признало, что «результаты этих мероприятий не были блестящими» [8]. Отмечалось и отсутствие ожидаемой мобилизации: М. Ряднин писал, что беднота «не была активной действующей силой» и что передел сенокосов не вызвал «в должных размерах и остроте классовую борьбу» [8; 28]. Сам Голощекин фиксировал «неучтённый выход» для крупных баев: «...мы отняли у них земли... Они как будто и в ус себе не дуют... есть еще какой-то выход для бая, и вот этот выход... мы должны найти и отнять его» [2; 75]. Таким образом, передел сенокосов и пашни не дал того социально-экономического эффекта, на который рассчитывал Казкрайком ВКП(б): устойчивость традиционной структуры и дефицит ресурсов у бедняков делали реформу менее результативной, чем ожидалось.

Более жёсткой по замыслу была реформа 1927 года: конфискация средств производства (прежде всего скота) у «баев-полуфеодалов» и выселение их семей. Воздействие конфискации на расслоение было неоднозначным и проявлялось на двух уровнях. Первый уровень связан с межкладными связями: между общиной и крупным байским хозяйством существовали тесные воспроизводственные

взаимосвязи в рамках интегральной производственной общности. Монополизируя ключевые организационно-хозяйственные полномочия, бай получал возможность отчуждать часть продукта общин. Это ухудшало положение рядовых членов. Однако внутриобщинный механизм поддержки бедных зависел от общего объёма продукта: сокращение продукта сужало возможности помощи и ускоряло вытеснение бедных на периферию. Отсюда «обратный» вывод: ослабление каналов утечки продукта к крупным хозяйствам могло частично сдерживать углубление расслоения. Но дифференциация разворачивалась главным образом внутри общин, поэтому эффект конфискации на этом уровне был опосредованным и его нельзя переоценивать.

Второй уровень был прямым: конфискация предполагала передачу части изъятого скота бедноте и батракам, то есть укрепление ресурсной базы низших слоёв и расширение середняцкого слоя. По данным, реформа затронула 696 хозяйств крупных баев-полуфеодалов (при плане около 1500). У них изъяли 144 474 единицы скота (в пересчёте на крупный), а 84 599 голов передали 25 061 бедняцко-батрацкому домохозяйству [9; 354–356]. В официальной статистике это подавалось как успех; в некоторых публикациях долю середняков доводили до 76,3 %, оставляя бедняков на уровне 18,2 % [6; 101]. Однако возникает ключевой вопрос: всегда ли объём переданного скота был достаточен, чтобы реально «подтянуть» хозяйства до нормы устойчивого ведения хозяйства?

Инструкция по конфискации прямо задавала ориентир: в кочевых районах бесскотным хозяйствам следовало передавать до 12 голов в пересчёте на крупный (1 голова КРС = 5 голов мелкого), а хозяйствам, уже имеющим скот, — доводить до той же нормы [10; 77]. Но на практике выполнить это удавалось далеко не всегда. В Каркаралинском округе, преимущественно скотоводческом [11; 36], расчёты показывали, что для доведения получателей до 12 единиц требовалось 12 139 голов, тогда как фактически передали 7065, то есть дефицит превысил 5 тысяч. Похожая картина была и в Кызыл-Ординском округе, где дефицит достигал примерно 9 тысяч [9; 366]. Источники фиксируют случаи, когда двора́м выдавали одну-две единицы скота в пересчёте на крупный.

На проблему «формальности» указывал Т.Р. Рыскулов: «...часть этого переданного скота бедняцкие хозяйства продают... на оплату долгов, на внесение налога... Оставшиеся же 2–3 головы не составляют скота» [12; 19]. Это важно: ликвидация крупного хозяйства лишала бедняков и батраков привычного источника заработка и поддержки; передача скота должна была стать альтернативой, но при малых объёмах и при необходимости срочно покрывать долги и налоги сценарий «встать на ноги» часто срывался. Поэтому Рыскулов подчёркивал, что «отобрание одного скота... недостаточно» и бедноте нужно «дать другие виды помощи одновременно» [12; 19].

Кроме того, в условиях скотоводства главным гарантом получения необходимого продукта и воспроизводства средств производства оставалась община. Даже получив скот, трудящийся должен был включиться в общинную организацию труда. Но для этого нужен был минимальный объём средств производства: без него хозяйство выпадало из принципа дополнительности и производственно-технологического «оптимума». Следовательно, получивший слишком мало скота не мог встроиться на равноправных началах. На бумаге его могли записать в «средняки», но, по существу, зависимость и подчинение сохранялись, лишь менялся уровень, на котором они действовали.

Можно предположить, что часть бывших работников крупных хозяйств могла перейти в колхозы или совхозы, но альтернатива была ограниченной: в период реформы было создано всего 5 животноводческих совхозов и 293 колхоза [13], чего явно не хватало для тысяч людей, потерявших прежние источники существования.

В итоге ожидаемый эффект конфискации (как и эффект передела сенокосов) во многих случаях не достигался. Идеи реформ нередко превращались в формальность — из-за непонимания смысла мер на местах, искажения целей, смещения акцента на конфискацию при слабом соблюдении процедур распределения и сопровождения помощи. Но главное препятствие заключалось в самой специфике традиционной аграрной структуры: механическое перераспределение ресурсов не ломало автоматически систему производства и отношений.

Поэтому классово-ориентированные акции советской власти не заблокировали докапиталистический механизм расслоения. Социалистическая тенденция не нейтрализовала интенсивность докапиталистической дифференциации, подпитываемой отношениями собственности вокруг скота и борьбой за земельно-пастбищные ресурсы. Показательно, что к концу 1928 года 75,3 % всех скотоводческих хозяйств оставались бедняцкими (пауперизированными) или жили с большим напряжением, фактически на грани обнищания [14; 581].

Наконец, необходимо сопоставить социальную реальность с официальным дискурсом. Пропаганда и отчёты часто утверждали, что реформы встречались с энтузиазмом и что якобы поступали многочисленные письма с просьбами проводить акции в новых аулах. Однако представить единодушное воодушевление можно лишь частично и прежде всего применительно к части маргинально-пауперизированных и люмпенизированных слоёв. И то не ко всем: значительная доля этих людей была занята в «феодално-байских хозяйствах» и зависела от них; ликвидация крупных хозяйств могла означать потерю единственного способа выживания. При этом удар нередко испытывали и массовые скотоводческие общины: разрыв воспроизводственных связей с ликвидированными крупными хозяйствами ухудшал условия организации производства в общинах. Следовательно, вмешательства государства затрагивали не только верхушку, но и широкие слои традиционного социума, причём порой в формах, которые власть изначально недооценивала.

Обсуждение

В конце 1950-х и в начале 1960-х годов сотрудники Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН Казахской ССР (так тогда назывался нынешний Институт истории и этнологии) выезжали в полевые экспедиции по разным районам Казахстана. Главная задача была практической и конкретной. Нужно было встретиться с современниками важных событий и зафиксировать их воспоминания. Собирали как письменные свидетельства, так и устные рассказы. Историков интересовали темы, которые считались ключевыми: революция 1917 года в крае, Гражданская война, сложные повороты 1920–1930-х годов и другие сюжеты. В результате накопился большой массив материалов. Все это было передано в Рукописный фонд Института и осталось там в виде папок, стенограмм и записей.

Надо понимать обстановку тех лет. После сталинских обвинительных кампаний и репрессий прошло всего два десятилетия. Память о них сохранялась очень живо. Вместе с этой памятью сохранялся и страх. Поэтому многие опрашиваемые не всегда говорили открыто. Они часто выбирали безопасные формулировки. Иногда их ответы звучали почти как лозунги. Чувствовалось, что риторика заимствована из газетных передовиц и официальных выступлений. Люди осторожничали, особенно когда разговаривали с городскими учеными. В этом нет ничего удивительного. Кроме того, и сами участники экспедиций по понятным причинам чаще стремились фиксировать «правильные» и комплиментарные оценки советской власти. Такой запрос был удобнее и безопаснее.

Но даже при этих ограничениях исследователям иногда удавалось наладить доверительный разговор. В ходе беседы люди расслаблялись и начинали вспоминать детали. И тогда в общем потоке повествования прорывались фразы и оценки с отчетливо негативным оттенком. Сотрудники Института обычно аккуратно записывали все, что слышали, независимо от тона. При этом существовала негласная логика: если какая-то часть материала не подходит для будущих публикаций, ее просто не используют. Но в архиве она все равно останется.

Представленные устные материалы показывают не столько «фактическую сторону» событий (конфискации, высылки, перераспределение скота), сколько структуру народного восприятия этих процессов спустя 25–30 лет. Повторяющиеся мотивы — образ «добротного бая», плач аульчан, молитвы, исчезновение привычных форм взаимопомощи, символические интерпретации (гибель скота как «наказание») — указывают на устойчивый паттерн памяти. Это не единичные эмоциональные эпизоды, а элементы коллективного нарратива о нарушенном моральном порядке.

Ниже приводятся отдельные фрагменты и выдержки из материалов Рукописного фонда, посвященные восприятию реформ 1920-х годов. Информантами выступили очевидцы всех тех событий, которые происходили в 1920–1930-е годы. На момент опроса они были в совершеннолетнем возрасте и происходили из семей середняков либо бедняков. Устные воспоминания, записанные в конце 1950-х — начале 1960-х годов, формировались под влиянием трёх факторов: личного опыта, травматической памяти о репрессиях и голоде, продолжающегося идеологического давления. Поэтому им нельзя приписывать статус точного протокола событий. Зато они высоко надёжны как источник по истории представлений и моральных оценок. Речь идет не о «буквальной фактичности», а о социальной памяти и ценностной интерпретации прошлого. По отдельности приведённые эпизоды — это частные случаи. Но их география (разные области), социальный состав информантов (бедняки, середняки, батраки, аксакалы) и тематическая повторяемость позволяют говорить не только об индивидуальных мнениях, а о массово воспроизводимом типе памяти.

Так, в стенограммах бесед с некоторыми колхозными аксакалами из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, записанных в 1959 году, встречаются такие «эпизоды памяти». Один рассказ сводился к следующему. Бедной семье по имени Куаныш выделили несколько овец и одну лошадь. Этот скот раньше принадлежал местному баю Кайназару, которого вместе с семьей куда-то увезли. Затем наступила зима, и, по словам рассказчика, овцы и лошадь погибли. Аул воспринял это как знак свыше: многие говорили, что Аллах наказал Куаныша за то, что он получил «неправедный» скот.

В другом воспоминании описывался приезд районного начальника. Его запомнили по черной кожаной куртке и такой же фуражке. Он приехал и изъял скот у бая Толеке. У Толеке, как говорили, были сотни баранов, много лошадей и кобылиц. Несколько баранов начальник тут же передал пастуху Толеке, то есть батраку. Этот пастух попросился к аксакалам кочевать вместе с их аулом, то есть войти в общину. Но старики отказали и даже не стали обсуждать просьбу. Тогда пастух при всех зарезал одного барана и угостил мясом детей и женщин. После этого он ушел с оставшимися овцами. Он говорил, что пойдет в город, там продаст овец и попытается устроиться на работу.

Есть и еще один характерный сюжет. В тяжелые периоды люди вспоминали бая Нуржанбека. По словам информантов, он часто помогал односельчанам: давал семена и предоставлял свои плуги. Когда его выслали, привычные формы поддержки исчезли. И тогда, как утверждалось, многим стало просто не к кому обратиться. В результате часть жителей покинула аул и ушла в Экибастуз добывать уголь [15; 56, 76–78].

Встречались и воспоминания другого характера. Один информант рассказывал, что в детстве был мальчиком-пастухом у бая Серкежана-ата. Он помогал взрослым пастухам пасти байский скот. Он запомнил, как хозяин очень сердился, когда пропадали овцы (предполагалось, что их могли задрать волки). Но в целом он описывал бая как доброго человека. Кроме того, кто-то из родственников хозяина обучал детей грамоте. Поэтому рассказчик научился читать и считать и потом легче учился в школе.

Похожее говорится и о другом богатом бае — Нуртас-ага. По воспоминаниям, он учил детей аула арабской грамоте и арифметике. Он также рассказывал им о султанах и батырах рода найман [16; 38, 52, 56, 59, 76].

Вот что вспоминали некоторые жители Балхашского района Алма-Атинской области (записи 1958 или 1959 года). Один из информантов говорил, что уже не помнит точную дату, когда их бая увезли вместе с семьей. Но он хорошо запомнил самого человека. Бай, по его словам, был добрым и часто шутил с ребятей. Дети аула играли с его детьми в асыки. Когда бая уводили, женщины аула, в том числе мать рассказчика, плакали. Мать повторяла, что этот человек был хороший и помогал людям, особенно в тяжелые периоды.

Другой собеседник вспоминал джут — время, когда пастбища покрывались твердым настом и скоту было трудно добывать корм. Тогда, по его словам, бай давал аулу своих лошадей. Лошади разбивали лед копытами, и это помогало пасти скот на общих угодьях.

Также рассказывали, как увозили бая Жанбырбая. По воспоминаниям, какой-то человек кричал на бая и его детей. Он заявлял, что увозит их надолго, «навсегда», в Сибирь. При этом он размахивал револьвером и угрожал не только семье бая, но и всем аульчанам. Люди плакали и прощались, а это его злило. Вечером, на намазе, аксакалы, как говорили, молились за бая.

В одном из эпизодов упоминались байские батраки. Когда начальство забирало бая, его дети плакали, и батраки тоже молились за него. Тогда один из начальников накричал на молящихся, назвал их «жунды» и заявил, что они не понимают, какое «счастье» им принесла советская власть. И тут же, при всех, отдал им шесть овец из отары бая. Когда представители власти уехали, батраки сказали, что уйдут в русскую деревню, продадут овец и попробуют устроиться там на работу, возможно, опять батраками [17; 68, 72, 85].

Есть похожие материалы из собеседований с жителями Карабутацкого района Актыбинской области (записи 1962 года). Один из информантов вспоминал, что когда бая увозили из аула, его пастухи помогали собирать белую юрту. Но начальник грубо остановил их. Он кричал, чтобы пастухи «отдали баю свои дырявые кошмы», а белую юрту, мол, забирает советская власть.

Были рассказы не о высылке, а о бытовой помощи. Один бедняк хотел жениться на девушке из другого аула, но у него не хватало овец для калыма. Тогда бай Кайнагул, по словам информанта, дал ему две хорошие кошмы и несколько овец, чтобы тот смог собрать калым.

Один свидетель подробно описывал сам момент высылки. Бая увозили вместе с семьей на двух телегах. Погрузить удалось только одну юрту, и то с трудом. Начальник, как вспоминали, смеялся и говорил, что юрта бая все равно не понадобится: теперь он якобы будет жить в землянке, в песках на Арале. Многие аульчане долго бежали за телегами. Они подбирали вещи, которые падали на дорогу, и снова складывали их на телегу. Люди плакали, гладили бая и его детей, желали им здоровья. Они говорили, что будут помнить его доброту и молиться за него и семью. Когда бая увезли, а городские люди уехали, родственники и сородичи, по словам информанта, еще раз собрались и молились за него [18; 46, 56, 71].

Совокупность устных свидетельств показывает, что на уровне повседневного сознания конфискации и высылки часто воспринимались не как «социальная справедливость», а как разрушение привычной системы взаимных обязательств и поддержки. Образ бая в памяти информантов выступает не только как фигура богатого собственника, но и как локальный донор ресурсов, посредник и покровитель. Тем самым устные источники дополняют основные идеи и положения исследования, демонстрируя разрыв между официальным дискурсом и живым социальным восприятием реформ.

Заключение

Таким образом, социально-классовые вмешательства государства в жизнь традиционного общества нарушали, а иногда и прямо разрывали сложившиеся социально-экономические связи воспроизводства. Из-за этого страдала и сама функциональность традиционной структуры. Но даже при таких ударах в 1920-е годы эта структура еще сохраняла относительную устойчивость и продолжала держаться за привычные механизмы жизни. Поэтому социальная дифференциация в ауле формировалась не только как имущественный разрыв, но как воспроизводимый комплекс зависимостей: от общинной кооперации, принципа дополнительности, перераспределительных практик и неформальных властно-статусных иерархий, которые продолжали действовать и после 1917 года.

Классово-регулятивные акции советской власти в 1920-е гг. сталкивались с институциональными барьерами традиционной культуры: критерии «справедливости», моральное давление со стороны элиты и риск утраты каналов общинных гарантий делали конформистскую стратегию для бедных нередко рациональнее конфликтной. Устные свидетельства конца 1950-х — начала 1960-х гг. дополняют эту картину: они фиксируют не только страх перед нарушением традиции, но и память о разрыве воспроизводственных связей и утрате привычных форм поддержки после ликвидации байских хозяйств. В итоге противоборство социалистической и докапиталистической тенденций в 1920-е гг. завершилось не «глубоким подавлением» старых механизмов, а их адаптацией и сохранением до рубежа коллективизации.

Благодарность

Это исследование финансируется в рамках государственного гранта ИРН AP23490445 Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Список литературы

- 1 Демин Л.М. Деклассированные слои в развивающихся странах Востока / Л.М. Демин. — М: Наука, 1985. — 247 с.
- 2 Голощекин Ф.И. Отчет Краевого Комитета VI Всеказахской партконференции / Ф.И. Голощекин. — Кзыл-Орда: Казгосиздат, 1928. — 47 с.
- 3 Постановление VI Всеказахского съезда Советов. 28 марта — 3 апреля 1927 г. — Кзыл-Орда, 1927. — С. 22.
- 4 Ряднин М. Казахстан на путях к социалистическому строительству / М. Ряднин. — Кзыл-Орда: Крайогиз, 1928. — 133 с.
- 5 Основные элементы сельского хозяйства Казахстана: по материалам выборочных сельскохозяйственных переписей 1926 и 1927 гг. — Алма-Ата: Каз. Центр. Стат. Упр. 1929. — 56 с.
- 6 Семевский Б.Н. Экономика кочевого хозяйства Казахстана в начале реконструктивного периода / Б.Н. Семевский // Известия Всесоюзного Географического общества. Вып. 1. Т. LXXIII. — М.; Л. 1941. — С. 103.
- 7 VI Всеказахский съезд Советов и 1-я сессия КазЦИК 6-го созыва. Стенографический отчет. — Кзыл-Орда: Крайогиз, 1927. — 234 с.
- 8 Ряднин М. Казахстан на путях к социалистическому строительству / М. Ряднин // Прииртышская правда. — 1928. — 5 февраля. — С. 28.

- 9 Дахшлейгер Г.Ф. Социально-экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана / Г.Ф. Дахшлейгер. — Алма-Ата: Наука, 1965. — 536 с.
- 10 Систематическое собрание законов Казахской Автономной Советской Социалистической Республики, действующих на 1-ое января 1930 г. (6 октября 1920 г. — 31 декабря 1929 г.) — Алма-Ата: Издание Управления делами СНК КАССР, 1930. — 344 с.
- 11 Авчинников И.И. 122 новых района Казахстана / И.И. Авчинников // Народное хозяйство Казахстана. — 1930. — № 11-12. — С. 36.
- 12 III сессия Всероссийского Центрального исполнительного комитета XIII созыва. Стенографический отчет // Бюллетень. — № 9. — М: ВЦИК, 1928. — 271 с.
- 13 Советская степь. — 1928. — 19 декабря. — С. 3.
- 14 Сельское хозяйство Союза ССР в 1927-1928 годы по данным налоговых по единому сельхозналогу. — М: ЦУНХУ, 1929. — С. 581.
- 15 Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Инвентарный № 42. — Л. 56, 76–78.
- 16 Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Инвентарный № 74. — Л. 38, 52, 56, 59, 76.
- 17 Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Инвентарный № 36. — Л. 68, 72, 85.
- 18 Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Инвентарный № 71. — Л. 46, 56, 71.

Ж.Б. Абылхожин, Ж.Е. Нурбаев, Г.Ж. Сұлтанғазы

Қазақ ауылының әлеуметтік поляризациясы және 1920-жылдардағы кеңестік биліктің таптық науқаны

Мақалада ЖЭС кезеңіндегі қазақ ауылының әлеуметтік-экономикалық серпіні және Қазөлкекомның алғашқы реттеуші акциялары талданып, 1920-жылдары ауыл қоғамының тұрақты бөлінуінің себептері ашып көрсетілген. Жалпыодақтық ауқымда жаңа экономикалық саясатқа көшу тауар-ақша қатынастарының ролін күшейтіп, нарықтық топтардың (батрақтық, ауқатты қожалықтар) қалыптасуымен сипатталса, қазақ ауылында бұл үдерістер табиғи мал шаруашылығы құрылымының басымдығы мен тауарлық айырбасқа шектеудің енгізілуіне байланысты әлсіз тұстары байқалғаны дәлелденген. Зерттеудің жаңалығы 1920-жылдар реформаларын тек әкімшілік науқан ретінде емес, сонымен қатар қауымдастық ішіндегі нормалар, ынтымақтастық және қайта бөлу жүйесіне араласу ретінде қарастырылады. Шаруашылықтардың ресурстық қамтамасыз етілуі жөніндегі ресми материалдарды, реформалар қорытындыларына берілген партиялық бағаларды және 1950-жылдардың аяғы мен 1960-жылдардың басындағы далалық жазбалардан алынған ауызша деректерді салыстырмалы талдау көптеген өзгерістердің ықпалы шектеулі болғанын көрсетеді: жер мен шабындық алу көбіне мал мен еңбек құралдары жоқ жағдайда шаруашылықты дербестікке жеткізбеді, ал бай қожалықтарының мүлкін қайта бөлу дәстүр қысым және қауымдық кепілдіктерден айырылып қалу қаупі салдарынан тежелді. Соның нәтижесінде ұжымдастыруға дейін ауыл халқының едәуір бөлігі арасында әлеуметтік поляризация, маргиналдану және кедейлену үдерістері сақталды. Мақалада 1927 жылғы ауыл шаруашылығы санағының статистикалық деректері, партиялық-кеңестік кездесулер мен есептердің материалдары, сондай-ақ Қазақ КСР ҒА Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих, археология және этнография институты экспедицияларында жиналып, Қолжазба қорында сақталған ауызша деректер пайдаланылды.

Кілт сөздер: дәстүрлі қауым, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік жіктелу, кедейлену, маргиналдану, мүлікті тәркілеу, байлық, батрақтық, ЖЭС, Қазөлкеком.

Zh.B. Abylkhodzhin, Zh.Ye. Nurbayev, G.Zh. Sultangazy

Social Polarization in the Kazakh Aul and the Soviet State's Class Campaigns in the 1920s

This article examines the socio-economic dynamics of the Kazakh aul during the New Economic Policy (NEP) and the first regulatory campaigns launched by the Kazakh Regional Committee (Kazzkraikom), identifying the causes of persistent stratification in rural society throughout the 1920s. It demonstrates that, whereas the shift to the NEP across the Soviet Union was accompanied by the growing importance of commodity-money relations and the emergence of market-based groups (rural hired laborers and affluent proprie-

tors), these developments were less pronounced in the Kazakh aul due to the predominance of subsistence pastoralism and limited integration into commodity exchange. The study's originality lies in treating the reforms of the 1920s not merely as administrative campaigns but as interventions into systems of intra-communal norms, solidarity, and redistribution. By comparing official materials on household resource endowments, party assessments of reform outcomes, and oral testimonies recorded in field notes from the late 1950s to the early 1960s, the article shows that many transformations had limited effects: access to land and hayfields often failed to ensure economic self-reliance in the absence of livestock and implements, while the redistribution of bai property was constrained by the pressure of tradition and fears of losing communal guarantees. As a result, polarization, marginalization, and pauperization persisted among substantial segments of the aul population until collectivization. The article draws on statistical data from the 1927 agricultural census, materials from party-Soviet meetings and reporting, as well as oral sources collected in expeditions of the Ch.Ch. Valikhanov Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR and preserved in its Manuscript Collection.

Keywords: traditional commune, social structure, social stratification, pauperization, marginalization, confiscation of property, bai elites, rural hired labor, NEP, Kazzkraikom.

References

- 1 Demin, L.M. (1985). *Deklassirovannye sloi v razvivaiushchikhsia stranakh Vostoka* [Declassed strata in the developing countries of the East]. Moscow: Nauka [in Russian].
- 2 Goloshchekin, F.I. (1928). *Otchet Kraevogo Komiteta VI Vsekazakhskoi partikonferentsii* [Report of the Regional Committee of the VI All-Kazakh Party Conference]. Kzyl-Orda: Kazgosizdat [in Russian].
- 3 (1927). *Postanovlenie VI Vsekazakhskogo sieezda Sovetov. 28 marta — 3 apreliia 1927 g.* [Resolution of the Sixth All-Kazakh Congress of Soviets. March 28 — April 3, 1927]. Kzyl-Orda [in Russian].
- 4 Riadnin, M. (1928). *Kazakhstan na putiakh k sotsialisticheskomu stroitelstvu* [Kazakhstan on the way to socialist construction]. Kzyl-Orda: Kraiogiz [in Russian].
- 5 (1929). *Osnovnye elementy selskogo khoziaistva Kazakhstana: po materialam vyborochnykh selskokhoziaistvennykh perepisei 1926 i 1927 gg.* [The main elements of agriculture in Kazakhstan: based on the materials of the sample agricultural censuses of 1926 and 1927]. Alma-Ata: Kazakhskoi Tsentralnoe Statisticheskoe upravlenie [in Russian].
- 6 Semevskii, B.N. (1941). *Ekonomika kochevogo khoziaistva Kazakhstana v nachale rekonstruktivnogo perioda* [The economy of the nomadic economy of Kazakhstan at the beginning of the reconstructive period]. *Izvestiia Vsesoiuznogo Geograficheskogo obshchestva — News of the All-Union Geographical Society*, Issue 1, LXXIII, 103 [in Russian].
- 7 (1927). *VI Vsekazakhskii sieezd Sovetov i 1-ia sessiia KazTsIK 6-go sozyva. Stenograficheskii otchet* [VI All-Kazakh Congress of Soviets and the 1st session of the KAZTSIK of the 6th convocation. Verbatim report]. Kzyl-Orda: Kraiogiz [in Russian].
- 8 Riadnin, M. (1928). *Kazakhstan na putiakh k sotsialisticheskomu stroitelstvu* [Kazakhstan on the way to socialist construction]. *Priirtyshskaia Pravda — Priirtyshskaya Truth*, 5 fevralia, 28 [in Russian].
- 9 Dakhshleiger, G.F. (1965). *Sotsialno-ekonomicheskie preobrazovaniia v aule i derevne Kazakhstana* [Socio-economic transformations in the village and village of Kazakhstan]. Alma-Ata: Nauka [in Russian].
- 10 (1930). *Sistematicheskoe sobranie zakonov Kazakhskoi Avtonomnoi Sovetskoi Sotsialisticheskoi Respubliki, deistvuiushchikh na 1-oe ianvaria 1930 g. (6 oktiabria 1920 g. — 31 dekabria 1929 g.)* [Systematic collection of laws of the Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic, effective January 1, 1930 (October 6, 1920 — December 31, 1929)]. Alma-Ata: Izdanie Upravleniia delami SNK KASSR [in Russian].
- 11 Avchinnikov, I.I. (1930). *122 novykh raiona Kazakhstana* [122 new districts of Kazakhstan]. *Narodnoe khoziaistvo Kazakhstana — Narodnoe khoziaistvo Kazakhstana*, 11-12, 36 [in Russian].
- 12 (1928). *III sessiia Vserossiiskogo Tsentralnogo ispolnitelnogo komiteta XIII sozyva. Stenograficheskii otchet* [III session of the All-Russian Central Executive Committee of the XIII convocation. Verbatim report]. *Biulleten — Bulletin*, 9. Moscow: VTsIK [in Russian].
- 13 (1928). *Sovetskaia step* [The Soviet steppe]. 19 dekabria, 3 [in Russian].
- 14 (1929). *Selskoe khoziaistvo Soiuza SSR v 1927-1928 gody po dannym nalogovykh po edinomu selkhoznaologu* [Agriculture of the USSR in 1927-1928 according to tax data on the unified agricultural tax]. Moscow: TsUNKhU [in Russian].
- 15 *Rukopisnyi fond Instituta istorii, arkhologii i etnografii Akademii Nauk KazSSR* [Manuscript fund of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR]. No. 42. — L. 56, 76–78 [in Russian].
- 16 *Rukopisnyi fond Instituta istorii, arkhologii i etnografii Akademii Nauk KazSSR* [Manuscript fund of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR]. No. 74. — L. 38, 52, 56, 59, 76 [in Russian].
- 17 *Rukopisnyi fond Instituta istorii, arkhologii i etnografii Akademii Nauk KazSSR* [Manuscript fund of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR]. No. 36. — L. 68, 72, 85 [in Russian].
- 18 *Rukopisnyi fond Instituta istorii, arkhologii i etnografii Akademii Nauk KazSSR* [Manuscript fund of the Institute of History, Archeology and Ethnography of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR]. No. 71. — L. 46, 56, 71 [in Russian].

Сведение об авторах

Абылхожин Жулдузбек — д.и.н., профессор, Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханов, Алматы, Казахстан; <https://orcid.org/0000-0002-9941-059X>

Нурбаев Жаслан — к.и.н., доцент, M. Narikbayev University, Астана, Казахстан; <https://orcid.org/0009-0006-0699-2743>

Сұлтанғазы Гүлмира — к.и.н., доцент, M. Narikbayev University, Астана, Қазақстан; <https://orcid.org/0009-0000-9811-9867>

Information about the authors

Abilkhozhin Zhuldyzbek — Doctor of Historical Sciences, Professor, Ualikhanov Institute of History and Ethnology, Almaty, Kazakhstan; <https://orcid.org/0000-0002-9941-059X>

Nurbayev Zhaslan — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, M. Narikbayev University, Astana, Kazakhstan; <https://orcid.org/0009-0006-0699-2743>

Sultangazy Gulmira — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, M. Narikbayev University, Astana, Kazakhstan; <https://orcid.org/0009-0000-9811-9867>